

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСОВ

Юрий ЛЕВАДА

"Человек советский": проблема реконструкции исходных форм

В современных эмпирических исследованиях такого феномена, как "человек советский" мы имеем дело с уже "размытыми", деформированными типами. Методологически изучение целого через "разрушенное", здорового через "больное" вполне оправданно и зиждется на опыте археологии, медицины, сопромата и др. Исследование современных феноменов распада (точнее, полураспада) социальных и антропологических опор советской системы позволяет представить ее исходное более или менее целостное состояние. Вместе с тем, чтобы оценить значение произошедших перемен, важно осмыслить исходные формы.

Анализ этой проблемы приобретает определенную актуальность в условиях очевидного оживления реставраторских тенденций и опасений, связанных с этим, в обществе. Примечательно, что тенденции реставрации или, может быть, точнее, реанимирования ряда характерных черт "человека советского" (изолированного от "человека западного", чуждого рационального расчета, окруженного врагами, тоскующего по "сильной руке" власти и т.д.) действуют после общепризнанного крушения идеологических структур и соответствующих им пропагандистских стереотипов, присущих советскому периоду. Это подкрепляет предположение о существовании некоего исторического "архетипа" человека, уходящего корнями в социальную антропологию и психологию российского крепостничества, монархизма, мессианизма и пр. Впрочем, следует учитывать также и продолжающееся воздействие на население квазипатриотической пропаганды, которая отнюдь не исчезла, избавившись от революционной фразеологии.

Отметим еще один фактор интереса к исходным особенностям "человека советского". Чем дальше уходит в прошлое его собственное время, тем более привлекательным оно представляется в массовом воображении. Демонстративная ностальгия, естественно, служит прежде всего способом критического восприятия нынешнего положения. Ее побочный результат — поддержание в различных группах общества, вплоть до социально-научной среды, идеализированной модели советского прошлого (кстати, аналогичная идеализация наблюдается и в сегодняшней западной советологии). Действует, впрочем, и прямо противоположная тенденция — возврат к полемически оправданному для своего времени представлению советской эпохи как некоей "черной дыры", абсолютного тупика, выбраться из которого не дают возможности никакие реформистские усилия.

Вопрос о серьезности или, напротив, эфемерности перемен, произошедших за последние годы на уровне человеческого сознания, позволяет судить и о степени реальности шансов на возврат общества к тоталитарной модели в каком-либо из ее вариантов.

Очевидно, что строгие средства эмпирического рассмотрения советского человека в его классический период невозможны. Материалы исследований фрагментарны и относятся к поздним периодам существования режима. Необходимая реконструкция может опираться лишь на косвенные данные и носит преимущественно аналитический и гипотетический характер. Существует особая проблема — интерпретация имеющегося в распоряжении исследователей достаточно обширного и представительного

материала о ценностях и установках старших возрастных когорт, например, людей, которые в 1989 г. были старше 50 лет в 1989 г. (и в 1999 г. — старше 60 лет) и сформировались в стабильно советских условиях. Такой подход позволяет в какой-то мере представить некоторые особенности более ранних форм интересующего нас феномена, но не более того: даже относительно прочные и давно сложившиеся антропологические комплексы подвержены влиянию перемен.

Еще одна методологическая трудность обусловлена неоднозначностью ("многослойностью") как косвенных, так и непосредственных показателей состояния общественного мнения. Данные, относящиеся к советскому прошлому — имеется в виду преимущественно, "классически-советское", наименее подверженное социальной эрозии, время, — трудно сопоставлять с получаемыми в современных условиях средними или социально-групповыми показателями. Классическое советское общество в массе своей являлось несомненно значительно более однообразным по сравнению с нынешним, но зато различия между массой и элитарными слоями были более значимыми. А поэтому особый смысл приобретал и "вечный" разрыв между демонстративным и реальным уровнем изучаемых показателей: универсальный императив выглядел "как надо" накладывал заметный отпечаток на самооценку и самовыражение "массового человека" советской эпохи.

Советский человек в "поколенческой" матрице. Советская история может быть представлена как последовательность смены "доминантных" поколений в различных общественных слоях. В каждый значимый период (такими можно считать, например, приблизительные десятилетия: 1918-1929 г., 1930-1941, 1945-1953, 1953-1964, 1965-1985 гг.) наиболее активна определенная поколенческая группа (когорта), обычно соотношенная с какой-то другой.

Если взять уровень властных структур, то 20-е годы будут представлены как взаимодействие "революционной" элиты со "старой" бюрократией, 30-е годы — как утверждение слоя новой партийно-государственной бюрократии ("сталинской"), оттеснившей и уничтожившей революционную элиту. Для послевоенных периодов характерны борьба за "сталинское наследство" между политическими кланами примерно одного возраста и происхождения, затем (около 1965 г.) смена политизированной элиты административной ("брежневской"), а спустя два десятилетия — смена "закрытой" элиты "открытой" (М.Горбачев), которая оказалась губительной для политического режима.

На несколько условном "массовом" уровне поколенческие переходы имели иное значение. В 20-е годы во всех "больших" в социологическом смысле группах: в городах, в селах — в массово-образованных слоях действовали поколения, сформировавшиеся в дореволюционных условиях, в той или иной мере приспособившиеся к изменению обстоятельств или мало затронутые этими изменениями. В последующее десятилетие происходило бурное формирование новых крупных общественных групп советского происхождения в деревне ("новое" крестьянство) и в городе ("новые" рабочие и массово-образованные группы). За эти годы были созданы механизмы массовой политической и социальной социализации, мобилизации, контроля, репрессивная и воспитательная системы закрытого, изолированного от внешнего мира, общества. Безусловно доминирующим являлось поколение людей, родившихся

перед первой мировой войной и социализированное в советских условиях, — первое и практически единственное собственно "советское" поколение.

Первые послевоенные (с 1945 г.) годы не принесли ни общественно-политических, ни поколенческих перемен. Победно-патриотическая волна использовалась для закрепления системы, ее господствующей элиты и способов ее господства, лишь несколько скорректированных по сравнению с предвоенным десятилетием.

Новый опыт поколений, прошедших войну, а также вступивших после нее в активный возраст, сказался лишь во второй послевоенный период (после 1953-1956 гг.), т.е. в годы первого общего (политического и идейного) кризиса системы. Все поколенческие когорты, вступавшие в активную жизнь после этого, не проходили уже ни "закалки" массового террора, ни милитаристской муштры, ни школы подчинения и противостояния, ни школы массового голода. В результате эти поколения оказывались в какой-то мере "расшатанными", отчасти отошедшими от собственно советских стандартов поведения, соответствующих запросов и ограничений.

Получается, что наиболее характерным, собственно советским поколением может считаться *только одно*, доминировавшее в 30-е и 40-е годы, т.е. в период кризисного формирования и военного испытания общественной системы. Но поэтому самое "советское" поколение не дало действительно устойчивого, цельного и, что особенно важно, способного к воспроизводству в следующих поколениях человеческого типа.

"Человек советский" в его исходном, условно говоря, классическом варианте — собирательное понятие, идеальный тип в терминологии М.Вебера. Никакой эмпирический референт, никакой конкретно-исторический тип социальной личности ему полностью не соответствует. Это важно иметь в виду и при обращении к современным процессам.

"Человек изолированный". Это важнейшая и, если так можно выразиться, многосторонняя характеристика рассматриваемого социального типа, поскольку здесь налицо изоляция внешняя и "внутренняя", пространственная и временная.

Исторические, географические, религиозные факторы, столетиями отгораживавшие Россию от остального (прежде всего европейского) мира, хорошо известны. Мировая война и революция довели социальную и культурную изоляцию страны до предела. Контакты на массовом, человеческом уровне были прерваны практически полностью. Внешний мир был представлен как враждебное "капиталистическое окружение", смертельно опасное для "нового мира", а потому наглухо закрытое "железным занавесом", в том числе информационным (цензура, спецхраны, так называемые глушилки и пр.). Конечно, это несколько упрощенная картина, полная изоляция все же была невозможна. И именно поэтому для поддержания замкнутости советского мира требовались постоянные усилия воспитательного и репрессивного аппаратов, время от времени подкрепляемые неистовыми "патриотическими" кампаниями. В условиях второй мировой войны и антигитлеровской коалиции внешние контакты, в том числе и на уровне человеческих, несколько расширились, возникла угроза размывания изолирующих барьеров. Реакцию на такую угрозу можно заметить в заполнявших последние годы сталинского режима волнах гонений против "космополитизма", "преклонения перед Западом" и т.п. В эти годы происходило, по сути, обновление изолирующего страну идеологического вала, своего рода китайской стены на российский лад. Строительным материалом служили уже не классовые, а сугубо национально-патриотические компоненты — гротескные концепции повсе-

местного превосходства "русского" над "западным" (в образе жизни, культуре, науке, технике, оружии), "отечественного приоритета" во всех сферах и т.п. Полвека спустя уместно вспоминать о факторах и последствиях этого, далеко не безобидного, калечившего души и судьбы множества людей нагромождения "патриотического" вздора.

Самая важная и, видимо, опасная сторона подобных усилий состоит в том, что они находили благодатную почву в человеческом материале, доставшемся советской власти и выращенным ею. Исторически и психологически укорененные противопоставления типа "свое" — "чужое", "наше" — "вражеское" закреплялись и работали в массовом сознании куда эффективнее доктринерских классовых разграничений. Одна из причин предельно легкого крушения официальных доктрин в начале 90-х годов заключается в том, что интернационалистическая фразеология давно, еще с 40-х годов, служила преимущественно прикрытием великодержавной политики.

Изоляция "человека советского" от внешнего мира вполне логично дополнена была не менее строгой изоляцией от собственного прошлого. История представляла была ему так, чтобы выглядеть подготовкой поворота всемирных судеб в октябре 1917 г. (в более поздних трактовках, как и в нынешнем массовом восприятии, кульминацией стал май 1945 г.). Нечто подобное происходило с историей общественной мысли, литературой, особенно в массовых и школьных вариантах. Отгораживать человека старались (и не без успеха) от "излишних" сложностей психологии, культуры, генетики, т.е. от собственного внутреннего мира. Формировался "человек простой" и понятный, вполне и просто управляемый. Закономерный результат такого принудительно отгороженного на протяжении десятилетий существования — человек, *внутренне* в своих установках и привычках предельно изолированный от внешнего мира. Внутренняя изоляция глубже и устойчивее любых принудительно навязанных внешних ограничений: это не только запрет на информацию извне, но и боязнь информации, нежелание ее иметь, неумение ее понимать, более того, готовность воспринимать любое новое знание с помощью "старых", традиционных стереотипов. Вероятно, наиболее существенной причиной установки на изоляцию служит неумение, неспособность приспособиться к "открытому" существованию, боязнь перемен, неophobia.

Особая и отчасти специфическая для России проблема — "элитарный" изоляционизм. После многочисленных чисток в слое, называвшемся советской интеллигенцией (особенно в окол властной ее составляющей), влияние "западников", "интернациональных революционеров", "космополитов" было ликвидировано, преобладающими стали русофильские, великодержавные установки, активно использовавшиеся в патриотических кампаниях на рубеже 40-50-х годов и сказывающиеся через полвека.

Неудачи перестроечного "прорыва" в мировую цивилизационную систему привели к оживлению изоляционистских установок на всех уровнях, от официального до массового.

Как показывают многочисленные опросы, декларативная отчужденность по отношению к внешнему миру за последние годы возросла. Представление о том, что Россия "окружена врагами", разделяется в последние годы чаще, чем пять-семь лет назад. Широкою поддержку получает главная идеология современного изоляционизма — концепция "особого пути" развития страны. Чаще всего используются два варианта ее оправдания: традиционные для всех антизападников ссылки на "извечные" отличия российской цивилизации от европейской (особая духовность, неприятие рациональной деловитости и т.п.) и более современные доводы типа "за 70 лет советского строя люди стали другими" (рис. 1).

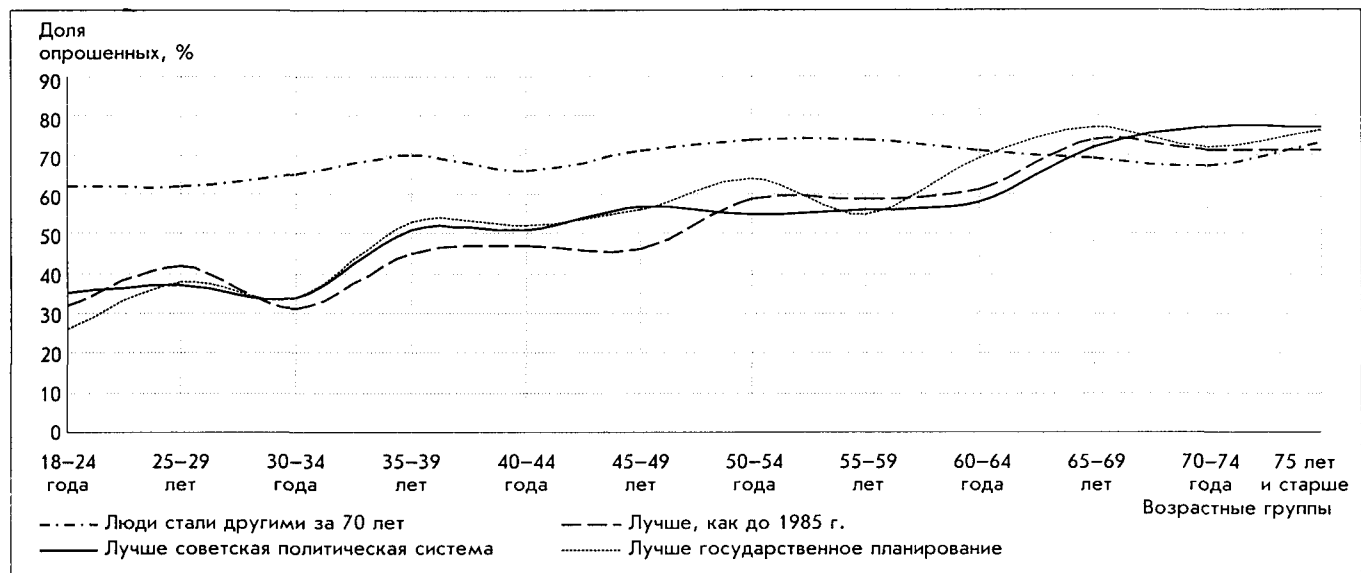


Рис. 1. Социально-политические установки (апрель 2000 г., N= 1600 человек)

События последнего времени показали, сколь эффективно могут использоваться такие настроения как для антизападной мобилизации общественного мнения (ситуация вокруг Югославии), так и для агрессивной политической мобилизации против "внутреннего врага" ("чеченская" ситуация).

На первый взгляд ситуация в высшей степени парадоксальна: "внутренние" изолирующие барьеры (в общественном мнении, в политической идеологии власти) сохраняют свое значение при почти полном устранении барьеров "внешних" (открытые границы, широкий обмен людьми, отсутствие формальной цензуры и пр.) Это показывает, что такие "внутренние" рамки имеют достаточно серьезные исторические и социально-психологические основания, которые могут приобретать большее или меньшее значение в соответствии с изменениями обстановки и мобилизующих факторов.

Если в далекие 30-50-е годы подавляющее большинство советского населения совершенно не представляло, как живут люди на капиталистическом Западе, и принимало на веру суждения о всеобщем голоде тамошнего населения, "абсолютном" обнищании и пр., то сейчас, при обилии информации и развитых контактах (около трети населения имеют родственников или знакомых среди тех, кто уехал жить за рубеж), включаются ограничители иного типа, например, "там хорошо, но это все равно не для нас" (далее могут следовать ссылки на привычки, склад ума и души, просторы, технику и пр.). Причем подобные утешительные объяснения могут иметь самую низовую природу, они не столько навязаны пропагандой, сколько возвращены "почвой" массовой апатии, непонимания "чужого", неготовности к активному социальному действию.

Следует иметь в виду, что "внутренние" линии обороны (а соответствующие барьеры имеют преимущественно охранительное значение) прежде всего декларативны. Они демонстрируют готовность противостоять не столько внешним недругам, сколько собственным попыткам сближения с чужим миром. Поэтому обнаруживаемая в исследованиях "высота" барьеров неустойчива: декларативное противопоставление внешнему миру соседствует в показателях исследования общественного мнения с признанием необходимости сближения России с Западом, вступления в Евросоюз и т.д.; стремление видеть в "кознях" американских бизнесменов и политиков источник

наших кризисов — с надеждой на улучшение межгосударственных отношений с США; и т.д. Аналогичным образом резко критическое отношение к демократам и демократическим преобразованиям в России сочетается с декларативным признанием демократических ценностей.

"Человек без выбора". Изолированность существования "человека советского" неизбежно дополнялась его *безальтернативностью*. Отсутствовали не только варианты политического, идейного, в значительной мере даже эстетического выбора, но накладывались ограничения на трудовой и профессиональный выбор (запрещение самовольных переходов, обязательное распределение специалистов), даже на избирательность поведения в сугубо личных сферах (запрещение абортов, затруднение разводов). Разумеется, не все запреты реально соблюдались. В открытом или теневом виде действовали многочисленные механизмы рыночной, карьерной, бюрократической конкуренции.

Абсолютной оставалась безальтернативность социально-политической системы. Ее воспринимали с энтузиазмом, по привычке, с лукавым терпением, редко — с возмущением, но непременно как нечто данное, неизбежное, непреходящее. В массовом человеческом сознании начисто отсутствовали варианты существования — не только в настоящем, но и в прошлом, равно как и в будущем (поскольку исключались из воображения социальные измерения будущего — открытость и неопределенность его вариантов). Утопия грядущего земного рая, в позднейших вариантах, ограниченного "отдельно взятой страной", в который мало кто, впрочем, верил, исполняла сугубо идеологическую, в терминологии К.Маннгейма, функцию закрепления массовой иллюзии *вечности* наличной социальной системы.

Два поколения советских граждан выросло в пространстве времени замкнутого мира, практически не имея представления о существовании иных миров или иных линий развития. Остатки поколения "старых" интеллигентов и специалистов, видевших другие горизонты, к началу 30-х годов вынуждены были признать, что у них и у страны больше нет выбора. Даже десятилетия спустя расшатанное в своих установках поколение "шестидесятников" (речь шла, конечно, о его интеллигентской верхушке) усматривало не альтернативу существующей системе, а лишь возможность некоего гуманизированного ее варианта — "социализма

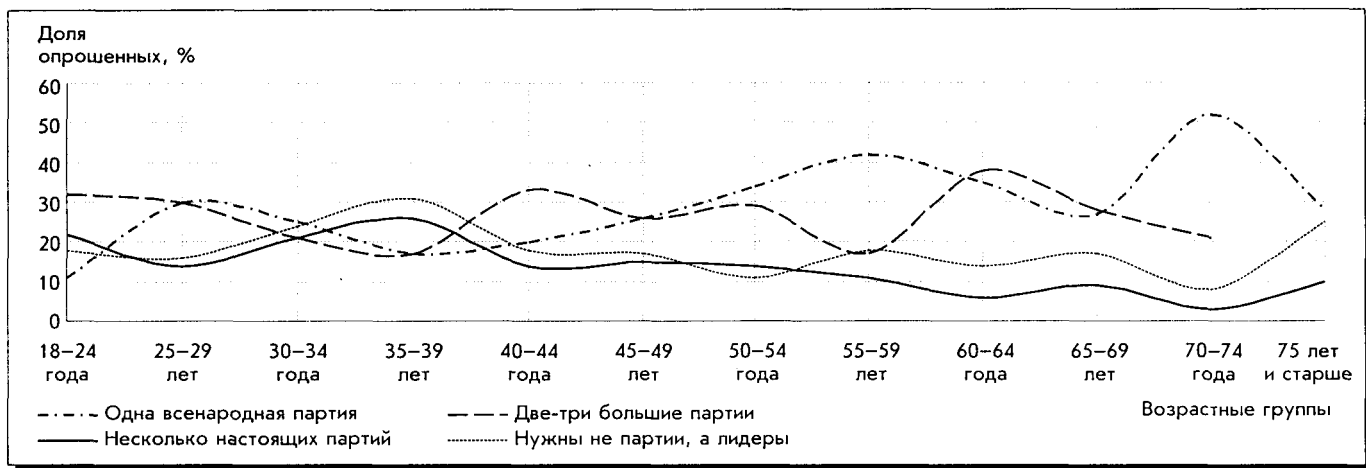


Рис. 2. Какая партийная система лучше сейчас (февраль 2001 г., N=1600 человек)

с человеческим лицом", надежды на который родились и погибли вместе с "пражской весной" 1968 г.

Безальтернативность существования — один из важнейших факторов политической гибели и демонстративной капитуляции старой революционной партийной элиты перед сталинским режимом. При всех сомнениях эти люди не имели никакой политической или нравственной альтернативы, вынуждены были считать террористический режим "своим", а потому подчиняться его мифологии и его правилам политической игры. Это особенно очевидным стало в годы наибольшего разгула террора 30-х годов.

Человек, лишенный "бремени выбора", естественно, оказался (и остался) удобным объектом политического и пропагандистского манипулирования. Неожиданно открывшиеся после 1985 г. возможности выбора — сначала читательского, потом политического, государственного (выбор страны проживания), позже потребительского и рекреативного — его скорее ошеломили, чем изменили в наиболее существенных чертах. Винить в этом, разумеется, нужно прежде всего обстоятельства формирования социально-политического плюрализма в обществе, во многом искусственного и эфемерного. В стране не сложились политические организации, имеющие массовую поддержку и определенную идейную платформу, существующая многопартийность общественным мнением оценивается довольно низко.

Однако и возврат к "классическому" партийно-государственному единству советского типа приветствуется не столь часто (рис. 2).

Можно полагать, что широко распространенная демонстративная тоска по былому единоначалию является прежде всего зеркально перевернутой картиной современного многоначалия и безначалия.

"Человек упрощенный". Характеристики "образцового" типа "человека советского" как простого обладает большой семантической нагрузкой (что мы пытались ранее показать, используя этот термин в названии книги*).

Постоянным лозунгом в течение всей советской эпохи оставалось "формирование нового человека" — нового по сравнению со всей предшествующей историей. Где-то к концу 20-х годов стало ясно, что этот конструируемый человеческий тип ничуть не должен быть подобен модному в начале XX в. символу могущественного "титана,рывающего цепи". Идеальный человек, востребованный советской системой, прославленный ее лидерами и труба-

дурами, — скромный, незаметный и непритязательный исполнитель указаний и предначертаний властей предрешающих. Декларативный героизм его сводился к выполнению трудовых, боевых и прочих заданий руководства. От своих дальних просветительских (XVIII в.) истоков концепция нового человека (*homo novus*) в ее советском произношении и исполнении сохранила преимущественно требование избавления человека от "порочного" наследия цивилизации (уничажительно именуемой буржуазной или эксплуататорской). Реальное содержание таких требований — формирование человека, знающего свое место в иерархической системе, без "лишних" претензий и недоумений.

Новый же человек проектировался как лишенный вредных "пережитков прошлого" — к длиннейшему списку которых причислялись самые разнопорядковые явления — чуждые вкусы и религиозные убеждения, непослушание начальству и воровство, лень и пьянство, преклонение перед западной культурой и "погоня за длинным рублем", "аморалка" и индивидуализм, национализм и пр. Акценты изменялись применительно к разным ситуациям. На деле попытки привести человеческую массу к единственно правильному "общему знаменателю" никогда не были успешными: результаты, если они и были, сводились к тому, чтобы оттеснить неконтролируемые проявления с демонстративной плоскости общественной жизни.

Представление о том, что опорой социализма должны быть люди, максимально свободные от "вредного" наследия прошлых цивилизаций, отражалось и в декларированной ставке на "простых" рабочих и крестьян как опору государства. На деле государственная власть всегда опиралась на бюрократию и специалистов, а голоса и кадры из "простых" использовала, чтобы приструнить слишком образованные и плохо управляемые группы.

Никакого "простого" нового человека усилия власти и пропаганды не создали и создать не могли, но тип "упрощенного человека" реально формировался, притом, скорее, обстоятельствами жизни, тоже достаточно примитивной.

"Упрощенный человек" должен быть, во-первых, послушным (власти), а во-вторых, скромным — довольствоваться малым, жить "как все", не "высовываться", не стремиться быть непохожим на других и т.д. И разумеется, ожидать заботы и милости только от всемогущего государства. В этот "антидистижительный" кодекс, естественно, входило и требование "прозрачности", т.е. доступности для коллективного и начальственного контроля. История известного персонажа В.Набокова, караемого за "непрозрачность", многократно в разных формах разыгрывалась в советской реальности.

* Советский простой человек. М., 1993.

Закрепленная в советской системе зависимость человека от "производственной группы" ("коллектива") превращала его в группового заложника. В то же время эта зависимость оборачивалась групповым сговором. "Своего человека", в чем-то проштафившегося, группа старалась не выдавать начальству, а человек, проявлявший излишнюю активность, выглядел опасным для группы, скажем, потому, что это грозило пересмотром норм выработки. Это, кстати, постоянно сводило к показным мероприятиям многочисленные попытки создать "движения передовиков" и т.п.

"Скромный человек" образца 30-40-х годов существенно отличался от "среднего человека" позднейших опросов: скромность в данном случае — навязываемый стандарт, идеально-типический эталон, противопоставленный средней — "обывательской", "мещанской", "мелкобуржуазной" и т.п. — массе. В число признаков обязательной скромности формируемого человеческого образца входила и "самоотверженность": небрежение к личным интересам и даже жизни ради высших целей (в духе песенной формулы конца 40-х годов — "забота у нас большая, жила бы страна родная, и нету других забот").

"Человек скромный" в своих претензиях, едва превышающих уровень простого выживания, не идеологический фантом, а вполне конкретная реальность времени. Самые дерзкие плановые расчеты даже позднесоветских лет ориентировались на довольно скромный по евростандартам уровень потребления, размер и качество жилья. Еще в 60-е годы квартира в пятиэтажном доме при 9 кв. м. на человека казалась большинству городского населения пределом мечтаний. Стоит вспомнить, что уровень потребления городского населения России 1913 г. был достигнут советскими горожанами лишь к концу 50-х годов. Дело, впрочем, не только и не столько в фактической стороне всеобщей бедности жизни "человека советского" в "классический" период его существования. Вся система планового централизованного хозяйства выполняла функцию воспроизводства дефицитарной экономики, в том числе постоянной нехватки простейших жизненных благ, и формировала человека, привыкшего, приспособленного к системе всеобщего дефицита. Ситуация принципиально не изменялась от колебаний количественных масштабов дефицита в определенной сфере или от наличия лазеек в системе, позволявших какой-то группе "урывать" в свою пользу больший кусок недостающего всем пирога. Именно эта ситуация универсального дефицита постоянно воспроизводила в массовом сознании и образ государственной власти как универсального распределителя благ между подданными. Попытки прогрессивных — по меркам 60-70-х годов — экономистов рационализировать дефицитарную систему (математическая школа в экономике, принцип "оптимального функционирования" и пр.) даже в случае успеха были бы обречены на неудачу, поскольку не могли вывести за принципиальные рамки той же системы. Тотальный дефицит и тотальное "благодетельное" распределение были взаимно неразрывны. Отсюда и связка проблем человека "дефицитарного" и тотально зависимого, массового и уравниваемого в своей беспомощности

Если массовое общество в развитых его "западных" формах предполагает рыночную избыточность предложения и навязывание социальных стандартов через рекламу, то дефицитарное общество — постоянную нехватку благ, принудительно (через внеэкономические механизмы) распределяемых властными институтами. Модель первого — воображаемый супермаркет с большим выбором товаров, модель второго — очередь за получением постоянно дефицитных благ ("очередь за бесплатным супом", по меткому выражению Э.Соловьева). Положение

человека в нескончаемой очереди за продуктами, квартирами, статусными позициями и привилегиями закрепляло его абсолютную зависимость от абсолютной власти еще сильнее и масштабнее, чем непосредственное принуждение и устрашение.

Положение человека в западном массовом обществе критическая социология (Д.Рисмен, Э.Фромм и др.) описывает как одиночество человека в анонимной толпе. К нашей ситуации такая терминология вряд ли применима. Вынужденный растворяться в группе и толпе человек страдает, скорее, не от одиночества, а от принудительной (чаще, впрочем, и не осознаваемой) социальности. Это равно относится к его положению социального "винтика" как в обычных условиях, так и в статусе "лагерной пыли".

Разумеется, "упрощение" человека имело свои пределы. «Мечтая начать с *tabula rasa*, русские революционеры лгали сами себе. Утвердившись в Кремле, они могли строить лишь из того "материала" людей, обычаев и привычек, которые имели под рукой. И, что еще хуже, сами были слеплены из того же материала», — замечает проницательный аналитик, польский поэт Ч.Милош*.

Обманывали себя и все остальные преобразователи человеческих судеб, притом, должно быть, во все времена. Необходимость как-то справиться с наличным "человеческим материалом", приводившая в отчаяние наивных революционных фантазеров, вынуждала прагматичных фанатиков тотальной реконструкции "поступаться принципами" ради сохранения власти — для выживания самих власть имущих — терпеть реально существующего, "пережиточного" человека, приспособляясь к его обычным нуждам и возможностям. Логика "упрощения" человека неумолимо вела к снижению уровня требований да и самих "требователей". Послушание (отчасти лукавое) оказывалось практически заменой "перевоспитания".

В принципе в устройстве тоталитарного государства абсолютная зависимость и беспомощность человека перед государственным Левиафаном ограничена лишь возможностями реального контроля над человеком. На деле этот принцип осуществляется через громоздкую систему устрашения и воспитания, которая никогда не могла быть полностью эффективной. Если отдельный человек не мог противостоять тотальному контролю, то он иногда мог от него отчасти уклониться, чаще же — надеяться на его принципиальную неполноту, выборочность (иными словами, надеяться на то, что "пронесет мимо").

Контроль страха. Постоянный страх человека перед всемогущей государственной системой чаще всего был привычным и неосознаваемым специально, подобно тому, как, скажем, не ощущается атмосферное давление в "нормальных" условиях, — страх становился предметом переживания, если ситуация выходила за рамки привычной нормы. Страх за сохранение социального статуса, за доступ к распределительным структурам, за ограниченную долю свободы и саму жизнь, за благополучие семьи, создаваемый не только действиями специальных карательных органов, но самой монополией государства как единственного работодателя, благодетеля, карьерного "лифта" и т.д. Непосредственными жертвами массового террора даже в годы его наибольшего разгула было относительное меньшинство населения. Но механизм террора бил не столько по "целям", сколько "по площадям", оставляя отдельному человеку на самых разных уровнях общественной иерархии надежду на выживание при условии лояльности и соучастия, хотя бы молчаливого, в оргиях массового террора. Механизм всеобщего террора как средство социальной

* Милош Ч. Россия // Литературное обозрение. 1999. № 3. С. 13.

организации был отработан еще в годы гражданской войны (знаменитые "децимации", т.е. выборочный расстрел каждого десятого из паникующих или мятежных полков), разрядок на "раскулачивание", а несколько позже — на уничтожение "врагов народа" (как сейчас хорошо известно, заранее утверждались даже не списки, а численность "врагов", которые подлежали осуждению на расстрел в каждой области).

Этот механизм устрашения не был только "верхушечным" или ведомственным, систему ЧК—НКВД—КГБ дополняла многомиллионная армия платных и добровольных пособников, доносчиков, обличителей (в том числе и самообличителей). Система массового доноительства и групповой ответственности, создававшая механизм коллективного, группового, цехового и т.д. *заложничества* ("один за всех и все за одного") была опробована задолго до отечественного эксперимента, например, в годы французского революционного террора, но действовала там лишь немногие годы. Социальная система была слишком сложна, чтобы долго выдерживать "упрощение". Отечественная социальная почва оказалась куда более благоприятной для этого. В частности, общий уровень массовой бедности и примитивизма социальных запросов создавал подходящие условия для постоянного и материально подкрепленного натравливания "низов" на "верхи" (в различных ситуациях это могли быть "верхи" и сельские, и технические, и научные, и социальные). Активные участники травли могли при этом рассчитывать на получение имущества, квартир и должностей своих жертв.

Пока этот механизм массового соблазна и устрашения работал, к нему приспособлялись, его считали неизбежным верхи и низы, массы и элиты, палачи и жертвы да и те, кто старался сохранить позиции "стороннего наблюдателя". Все эти роли, как известно, строго не разграничивались: доносчики и палачи превращались в жертв, а жертвы выступали доносчиками. Видимо, это одна из причин, в силу которой были обречены на неудачу попытки свести всерьез счеты с прошлым.

Механизм устрашения неодинаково действовал на разных этажах общественной пирамиды. Наиболее "жестким" он был наверху, где требовались "монолитная сплоченность" (вокруг вождя) и "беспредельная преданность" (ему же). В низах карательная система работала более выборочно, оставляя больше возможностей для лукавого адаптации и выживания. Особое значение имела позиция околовластной, культурной (в том числе и "старой") элиты. Именно она подталкивала массу на путь, ведущий к безоговорочному подчинению во всех кампаниях массовой поддержки, равно как и в сценах коллективных проклятий, "уроках ненависти" первую скрипку неизменно играли наиболее образованные, близкие культуре группы. Сильнее всего на них действовал страх оказаться "не таким, как все", и тем самым превратиться в жертву остракизма. И именно в этой среде ("прослойке" между властью и массой) получил распространение такой идеологический гибрид, как сочетание страха с деланным (в некоторой мере и настоящим) жертвенным энтузиазмом, призванным заглушать собственный страх и оправдывать бесчеловечность режима.

"Классическое" советское общество не знало сколько-нибудь заметных социальных протестов и потрясений — безальтернативное тотальное господство не оставляет для них ни малейшей возможности. Ни расправа над крестьянством, ни погромная травля церкви, ни массовый голод не приводили к массовым возмущениям. Лишь в 1953 г. при ослаблении "вожжей" началась серия лагерных бунтов (Экибастуз, Воркута) и произошло первое восстание во "внешней" части империи (Берлин). Послевоенные партизанские движения на Кавказе, в Западной Ук-

раине, Балтии были связаны с особенностями советизации и национальной политики в этих регионах.

Распространенные в литературе представления о "сопротивлении" в интеллигентской среде, о "внутренних эмигрантах" и чуть ли не о "молчаливом большинстве" несогласных — это не более чем утешительный самообман. За единичными, может быть, исключениями даже бунтовавшие в прошлом (М.Горький, М.Булгаков) либо "просто" платили дань за право жить и работать, либо уверяли себя в полезности культурного строительства, тешили себя надеждой на либеральную трансформацию режима и т.п. Пределы приспособления к социально-политической реальности, продемонстрированные советским человеком, включая его элиту, невероятно широки. В немалой мере это связано с таким адаптивным механизмом, как двоемыслие.

Двоемыслие: неизбежность и многообразие. Достаточно часто обсуждавшийся феномен универсального двоемыслия (лукавства), пронизывающий сознание и отношения человека советского, видимо, нуждается в обстоятельном анализе. В частности, важно представить многообразие вариантов, обусловленных различием позиций отдельных групп в социальной иерархии, а также особенностями общественной ситуации в разные периоды.

Очевидным представляется прежде всего различие лукавых приемов, применяемых "сверху" и "снизу", т.е. грубо говоря, со стороны правящих и со стороны подданных. Первые добиваются доверия или по меньшей мере послушания, используя широкий спектр таких средств информационного воздействия, как умолчание, преувеличение, искажение фактов, формирование иллюзий, фобий, создание фантомных образов героев и злодеев, преувеличение собственных успехов и преуменьшение неудач, сокрытие потерь и т.д., уверяя при этом самих себя, что это всего лишь "ложь во спасение", ради успеха правого дела, для мобилизации общества на борьбу с коварными противниками или что это сугубо временная мера, вызванная политической неграмотностью масс.

Ничего оригинального, специфического "советского" в таких приемах, естественно, нет, их можно обнаружить в любой ситуации идеологического противостояния. В советских (партийно-советских) условиях такое противостояние постоянно во времени (в сталинские времена считалось даже, что оно "постоянно обостряется") и предельно, абсолютно по своему значению: поскольку противник всегда предстает носителем абсолютного, inferнального зла, для борьбы с которым пригодны любые средства, в том числе, естественно, и "лукавые".

Двоемыслие "сверху" выглядит как попытка оправдаться перед самим собой и "своими" ("сознательные"; по Оруэллу, — "внутренняя партия") за использование "возвышающего обмана". Двоемыслие "снизу" предполагает принятие этого обмана прежде всего не ради идейного "возвышения", а просто ради самосохранения. В двоемыслии "сверху" достаточно часто присутствовал элемент самооправдания или хотя бы самоутешения — сделки с собственной совестью ("внутреннее" лукавство). В двоемыслии "снизу" преобладало лукавство "внешнее", т.е. стремление уклониться, отгородиться от всеобщего контроля власти.

В обоих вариантах — и в этом принципиальная сторона всей проблемы — критерий "полезного" вытесняет и подменяет критерий "истинного". Требование "правильно поступать" и даже "правильно понимать" (в том числе и сакрализованные тексты или символы) превращается тем самым в главную основу социальной нравственности.

Торжество двоемыслия обусловило как сравнительно легкий успех советской социальной модели, так и ее ограниченность. Попытки ввести полное и всеобъемлющее

единомыслие даже в замкнутых группах, тем более в масштабах общества (если, конечно, не принимать в расчет общества и группы традиционного типа), неизбежно оказывались неудачными. В советской модели от человека требовалось безоговорочное признание власти, а также декларативное или ритуальное принятие ее лозунгов, — что служило своего рода "данью" за возможность поддержания в определенных рамках личной, семейной жизни, собственных интересов и пр. Разделение таких сфер никогда не было эффективным, а поэтому постоянно служило объектом регулирующих акций и бесплодных дискуссий.

Универсальный образец общественной организации, построенной на принципах "советского" двоемыслия — колхоз с характерным для него разграничением "личного" и "общего" интересов. Личное хозяйство на деле служило не подсобным, а основным источником существования населения. Колхозникам приходилось отрабатывать своего рода "барщину" для того, чтобы сохранять свой участок*. Оплата труда (по "трудодням") была символической, но колхозники могли (не вполне легально) получать корма, технику и пр. В какой-то мере это устраивало все стороны. И обеспечивало как экономическую, так и моральную деградацию села (и всего общества).

В современных общественных условиях России механизмы двоемыслия очевидно продолжают действовать, хотя и с различными видоизменениями. Обесценились и утратили всякую действенность апелляции к сакральным идеологическим ценностям, к близкому наступлению эпохи изобилия и т.п. как средствам оправдания нынешних лишений. Демонстративная лояльность востребована сейчас только в кремлевских коридорах и в наиболее влиятельных СМИ. Изменилось прикладное значение лукавства: в советское время неотъемлемой чертой хозяйствования были приписки, сейчас — уменьшение объемов производства (уменьшение налогооблагаемой базы). Двоемыслие приобрело как бы более приземленный характер: одни делают вид, что соблюдают законы, исправно платят налоги и пр., другие — что решительно борются с нарушениями. На деле все стороны признают неисполнимость установленных норм и борются лишь за размер и адресацию "отступного" платежа. В этой ситуации стирается само исходное различие позиций "верха" и "низа".

"Человек мобилизованный". Черты *социальной* мобилизации — состояние экстраординарной напряженности, подчинение различных сфер деятельности извне заданной цели, сосредоточение разнородных ресурсов на определенном направлении, ограничение "обычных" для данного общества прав и возможностей действия отдельных лиц, групп, субъектов права в пользу центра, командования, спецслужб и т.п. Для "нормально" функционирующих обществ такое состояние является исключительно редким (война, крупное стихийное бедствие). В напряженном состоянии общественный механизм работает на исчерпание своих ресурсов (в том числе человеческих и моральных), а не на их постоянное воспроизведение. Для советского тоталитарного социализма только постоянная мобилизованность была "нормальным" состоянием. В этой обстановке формировался человек, вынужденный постоянно ждать, что его в любой момент оторвут от рутинного быденного существования,

* Довольно откровенно говорил об этом И.Сталин: "...Колхоз не может взять на себя, чтобы и общественные нужды удовлетворять, и личные... Лучше исходить из того, что есть артельное хозяйство, общественное, большое, крупное, решающее, необходимое для удовлетворения общественных нужд, и есть наряду с ним небольшое личное хозяйство, необходимое для удовлетворения личных нужд колхозника". (Второй всесоюзный съезд колхозников-ударников. Стенографический отчет. М., 1935. С. 35.)

если таковая вообще была, обложат новыми повинностями, поставят в некий ряд, куда-то направят и т.д.

Но как раз постоянная (требуемая) мобилизованность не могла быть эффективной. Принудительный порядок при отсутствии должной трудовой и нравственной культуры, когда работа или общественное дело выступают в качестве тяжелой повинности, неизбежно порождает стремление уклониться, безответственность, имитацию порядка. В лучшем случае постоянная социальная мобилизация напоминает систему какого-то допинга, результатом которого служит кратковременная активизация и последующее разложение организма. Наиболее очевидный и трагический пример — вынужденная, жесткая, но далеко не всегда эффективная мобилизация человеческого потенциала советского общества в условиях войны 1941–1945 гг. Это видно по количеству сдавшихся в плен, уклонявшихся от призыва, дезертиров, коллаборационистов.

Непременное условие мобилизационного состояния — обстановка постоянной "борьбы" (с внутренними и внешними врагами, за урожай с природой, за перевыполнение плановых заданий и так до бесконечности) и разумеется, безоговорочного подчинения начальству. Иными словами, требовалось постоянно воспроизводить псевдогероическую атмосферу с мифологизируемыми персонажами и ситуациями (герои, враги, подвиги, коварство, измена, соблазны, превращения и прочие элементы мифологического языка, описанного В.Проппом и К.Леви-Строссом). Конечно, это был лишь псевдомифологический язык, заново сконструированный "новояз", "совсоц-язык", если пользоваться известными выражениями Дж.Оруэлла.

Мобилизационная система нуждалась в своих героях и создавала их, превращая обычную работу в подвиг (формула И.Сталина: "труд — дело доблести и геройства", тысячекратно пропетая в "Марше энтузиастов", кстати, на музыку Д.Шостаковича, и в великом множестве менее ярких опусов), а то и "назначая" героев по областным и отраслевым разрядам. Не меньше нуждалась она и во врагах, которых постоянно находила в избыточных количествах. И, конечно, в непогрешимом авторитете вождя. Пиковый момент — вторая половина 30-х годов: провозглашен "великий вождь", идет повальная охота на "врагов народа", воспеваются подвиги полярников, летчиков (экспедиция Шмидта–Папанина на Северный полюс, перелет Чкалова в Америку — все это в 1937 г.!), а также балет Большого театра... Военные испытания несколько снизили мифопоэтический тон социально-политической мобилизации, и "пиковый" уровень ее напряжения уже никогда не был восстановлен.

Стиль и **общественное мнение** эпохи. При анализе советского общества в период его расцвета следует принимать во внимание особенности социальной мобильности того времени. Действовал более массовый и очень мощный ее канал, связанный с процессами экстенсивной урбанизации, индустриализации, с развитием образовательной системы. Именно 30-е годы (отчасти продолженные первыми послевоенными) — период самой масштабной социальной мобильности, преимущественно вертикальной и повышающей, в истории страны. Первичная урбанизация и начало полного разрушения деревенского уклада, "тяжелая" индустриализация, почти всеобщее начальное образование, приобщение к автомобилю, трактору, электричеству, кино — все это означало, что десятки миллионов продвинулись на более высокие, по сравнению с прежними, статусные позиции. Правда, это происходило при снижении общего среднего уровня культурности, качества образования и квалификации специалистов. И, соответственно, уровня запросов "новой" образованной и специализированной элиты по сравнению со "старой". Кроме того, массовый

террор, направленный вверх, на устранение старых кадров, давал возможность карьерного самоутверждения определенной, наиболее молодой и встроенной в систему части элитарных слоев.

Важнейшая роль в формировании такого типа ориентации принадлежала системе направленного образования и культурного, осуществляемого через литературу, кино и пр., воспитания. Особенность ситуации "классического" советского периода состояла в том, что десятки миллионов получили впервые доступ к письменным текстам, но при этом тщательно отцензурованным и препарированным. Два поколения советских людей иных текстов культуры просто не знали.

Отсюда — трудно воспринимаемый сегодняшними глазами относительно высокий уровень социальной удовлетворенности и оптимизма, который, как можно полагать, был свойствен значительной части тогдашнего общества. Это оптимизм уцелевших, минимально требовательных и кое в чем заметно продвинувшихся. Он принципиально невоспроизводим на других стадиях развития и при другом сочетании социальных и поколенческих факторов.

Внешний стиль советской эпохи в пору ее расцвета запечатлен в наборе лозунгов, плакатных (в том числе живописных, скульптурных, кинематографических и пр.) образах, в музыкально-песенном жанре. Конечно, все составляющие такого стиля "задавались" (отбирались, утверждались) сверху, официальными инстанциями. Но, как представляется, стиль эпохи не сводится к "верхушечным" требованиям: дело в том, что заданные стереотипы принимались "низами", служили действующим средством массовой политической социализации, выводившей человека за пределы повседневной бытовой сферы, и одновременно влияющим на нее. Другого средства, другого языка просто не существовало, поэтому "все" смотрели одни фильмы, пели одни песни, переживали за одних и тех же киногероев — суровых борцов и их верных подруг.

В жизненных реалиях эпохи значимым средством массовой социализации служила массовая хоровая *песня*. Ни до, ни после (примерно после 50-х годов) ничего подобного не было, возможно, в связи с появлением телевидения как универсального организатора. Мода времени — в строках: "поет и пляшет вся советская страна", "кто с песней по жизни шагает" и т.п. Понятно, что песенный хор выступал как своего рода модель единогласия. Можно заметить также, что практически все популярные советские песни (от "Широка страна моя" до "Катюши") — маршевые, строевые, задающие ритм шагающей "в ногу" колонне солдат или зеков. Массовая песня как бы задавала ритм всеобщей муштровке, а шагающая колонна служила образом движения страны к высотам прогресса.

Общественное мнение в обществах тоталитарного типа (это, видимо, относится также к нынешним режимам "восточного" авторитаризма) представляет собой механизм "единодушного" ("все как один") одобрения власти и осуждения ее противников. Показателями "мнения большинства" служат в таких условиях не данные социологических опросов, а результаты всеобщих голосований, восторженные или гневные резолюции массовых митингов, петиции ("письма трудящихся") и прочие выражения массовой поддержки режима. Мнения же злонамеренного или "несознательного" меньшинства (разговоры, слухи, письма и пр.) составляют предмет преимущественно спецполицейского интереса. В принципе в таких условиях нет ни нужды, ни предмета для современных методов массовых репрезентативных опросов.

Первые опыты изучения советского общественного мнения с помощью массовых опросов, начатые немногими

энтузиастами в 60-е годы* при определенном смягчении идеологического климата, дают чрезвычайно ценный материал для анализа структуры и механизма действия феномена массового единодушия.

Согласно официальным данным, за предложенных безальтернативных кандидатов на всеобщих выборах в СССР голосовали примерно 97-99% (сходные результаты давали плебисциты в Германии 30-х годов, избирательные кампании и референдумы в Ираке или в Туркмении в последнее время). Точность подобных результатов не поддается детальной проверке ввиду отсутствия документации (в наших условиях избирательные бюллетени полагалось уничтожать сразу после процедуры подсчета), а также возможности сопоставления с опросными данными. Возможно, реальные масштабы массовой поддержки были несколько меньшими, допустим, не 98%, а 70-80%. Однако власти, претендовавшей на абсолютный контроль над обществом, казалось опасным признать наличие хотя бы 10-20% несогласных с ней (точнее, оставшихся в стороне от ритуала восторженного одобрения). Но и при таком раскладе позиций феномен показного единодушия существовал и действовал.

Можно попытаться выделить основные факторы, подерживавшие этот механизм постоянного воспроизводства единодушного большинства. Главный из них — рассмотренное выше отсутствие альтернативной позиции. Не в избирательном бюллетене, в котором теоретически можно было вычеркнуть фамилию единственного кандидата, а в обществе. Возможность ее определить, выразить, навязать остальным получала только одна, правящая сила. Никакое мыслимое противодействие, несогласие, инерция или эскапизм не имели ни малейшей возможности организоваться, определить какие-то позиции, тем более быть услышанным. Голос организованной силы выступает в качестве всеобщего, если он звучит в атмосфере молчания.

Важно принять во внимание, что в массовых акциях поддержки власти (или осуждения ее противников) имела значение не столько количественная сторона (соответствующие цифры, проценты, миллионы), сколько *ритуальная*. Выборы, голосования, как и прочие "массовые мероприятия" (демонстрации, праздники и пр.), имели значение прежде всего как *символы* приобщения населения к делам государственной важности. При фактической недопустимости реального влияния на такие дела социально-политические ритуалы поддерживали важную для масс иллюзию соучастия в них. Эта иллюзия долго сохраняла свои мобилизующие и утешительные функции.

Масса, элита, лидеры. Понятие "элиты" применимо к советскому (как и постсоветскому) обществу с определенными оговорками, поскольку в советской истории не было устойчивого слоя, социальной группы "избранных", продвинутых, более способных и т.п. К вершинам власти прорывались, сменяя друг друга, разные по составу и происхождению группы, члены которых чаще всего были довольно далеки от высот образования, опыта, нравственности.

Строгая дихотомия "элита—масса" характерна для традиционно-иерархических общественных систем и для стран, переживающих ускоренную ("догоняющую") модернизацию. Советский опыт явно относится ко второму варианту, правда, с одной существенной оговоркой: преодоление вековой отсталости подавалось как созидание принципиально нового общества, заведомо превосходящего все известные образцы. Этим и оправдывались попытки "перегнать" развитые страны с помощью системы принудительного труда

* См. *Грушин Б.* Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. М.: Прогресс-Традиция, 2000, ч. 1.

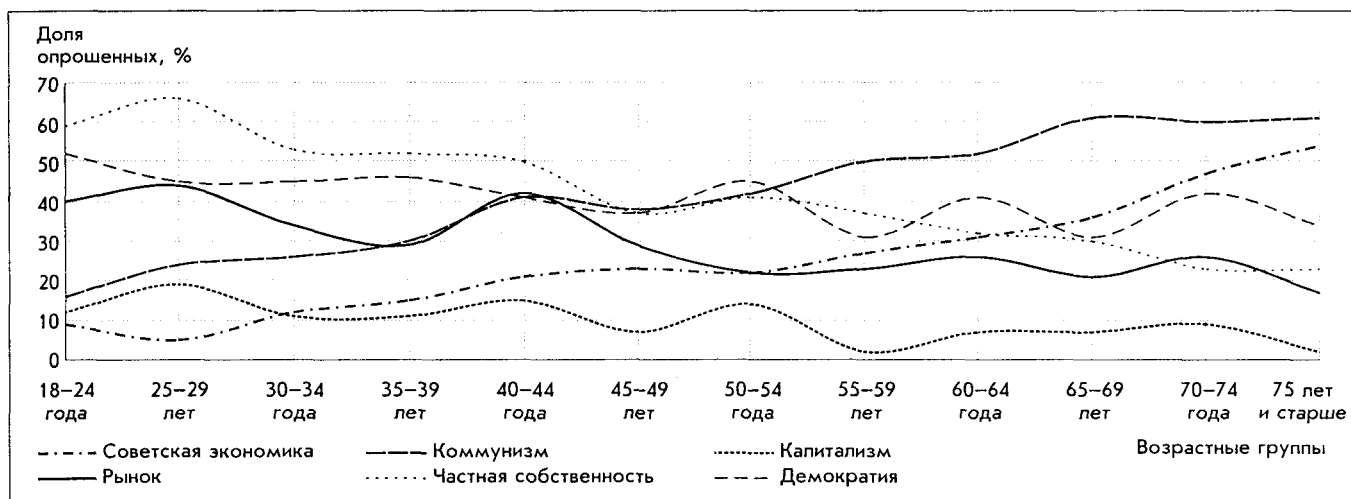


Рис. 3. Позитивное отношение к лозунгам и терминам

и распределительной экономики. В конечном счете именно такие претензии отличали правящую элиту советского общества от лидеров многообразных военных диктатур в развивающихся странах "третьего мира".

В этой ситуации правящая элита выступала, согласно официальным определениям, как "руководящая и направляющая сила" по отношению к обществу, т.е. обладающая монопольной властью и монопольным правом поворачивать косную, инертную, "несознательную" массу на избранный путь. И поэтому постоянно акцентировала свою обособленность от этой массы: "Мы, большевики, люди особого склада. Мы скроены из особого материала" (И.Сталин, 1924 г.). В последующие десятилетия, особенно к концу советской эпохи, претензии политической элиты ослабли, лидеры перестали играть роль небожителей. Да и общество все труднее было представлять в качестве инертной и послушной массы. Советски-модернизационная модель "элита—масса" практически исчерпала себя.

Можно полагать, что положение правящей элиты при ограниченности ее ресурсов (образовательных, политических, личностных) приводила к тому, что правящая элита оказалась *самой неустойчивой* социальной группой советского общества. С годами изменились лишь проявления такой неустойчивости — в начальный период были связаны с внутренней борьбой, поисками "врагов" и "виноватых", в последние периоды — с карьерными интригами и поколенческими разломами. Все политические кризисы советского времени — это кризисы внутри правящей элиты, неспособной вывести общество на "нормальный" путь и трансформироваться в "нормальный" для развитых стран институционализированный политический слой — при разделении властей, конкурентных выборах и пр.

В разные периоды своего существования в советской элитарной структуре провозглашались принципы "коллективного руководства" (в годы борьбы за высшую власть после 1923 г. и после 1953 г.). В период деградации и дискредитации правящей верхушки ("застойные" годы) чаще апеллировали к "научной" основе политического курса. На деле же сама пирамида абсолютного властного и доктринального господства советского типа нуждалась в абсолютном личном авторитете, в "культулой", как сейчас пишут, фигуре верховного вождя. И властвующая элита его создавала, лелеяла, терпя издевательства и расправы, а потом, уже после разоблачения сталинского террора, пыталась даже проецировать черты непогрешимого лидера на малопригодные для этой цели персоны (Н.Хрущева, Л.Брежнева): без "точечного" завершения пирамида власти оказывалась неустойчивой. Сделать это не удалось

не потому, что в политической верхушке не нашлось подходящей фигуры, а потому, что сама пирамида уже была серьезно размыта.

Персонализация высшего политического и морального авторитета в фигуре "вождя" была предложена обществу официальной пропагандой в середине 30-х годов и довольно охотно принята им. Стоит отметить, что "вождизм" со всеми его последствиями навязан общественному мнению "сверху". Харизматические качества, приписанные советским лидерам, имели черты "вторичной" харизмы, сформированной после прихода соответствующего деятеля к власти. Единственное, может быть, исключение — Б.Ельцин, приобретший некоторые харизматические черты в воображении своих сторонников до прихода к власти и растерявший их в годы правления. От политического деятеля, наделяемого "вторичной" харизмой, как показывает отечественная история, не требуется таких качеств, как дальновидность, эрудиция, красноречие. Чаще всего от него ждут сочетания фанатической уверенности в собственной правоте и, конечно, умения приспособляться к обстоятельствам и уровню запросов своего окружения ("полуфанатик, полуплут", — эта пушкинская формула здесь кажется вполне уместной).

Функциональная структура советского общества исключала существование специфически культурной элиты как создателя образцов и символов культуры. Ее роль сводилась к "строительству человеческих душ" (естественно, по предназначениям правящей верхушки) и в ограниченной мере к хранению культурного наследия. Для исполнения этого круга околовластных обязанностей формировалась "новая интеллигенция". С трудом, но вынуждены были приспособиться к той же роли оставшиеся в стране люди старой интеллигентской элиты. Иллюзия возвышения интеллигенции мелькнула и погасла с горбачевской перестройкой, т.е. в момент распада общественной системы.

Тенденции распада и реставрации. Происходит ли сейчас — и возможна ли в принципе — "реставрация" полу-распавшегося социального типа человека советского?

Как известно, губительной для советской экономики оказалась опора на невоспроизводимые ресурсы — доступные природные богатства, дешевую рабочую силу. Но советская социально-политическая система аналогичным образом опиралась на невоспроизводимые ресурсы — закрытость страны, безальтернативность, низкий уровень запросов, массовое насилие и массовый страх. Каждый из этих факторов может воспроизводиться в новых формах, при изменении условий жизни человека и общества.

Сочетание, совместное их действие неповторимо, уникально. Только в исключительных социальных условиях послереволюционной России сформировался и закрепился на несколько десятилетий тип "человека советского" с его привычками, надеждами, стереотипами и комплексами общественного мнения.

Институциональные рамки существования этого социально-антропологического типа основательно, хотя и не полностью, разрушены. Причем не за последние 10-15 лет, а за гораздо более длительный период: фактически эрозия советской системы, приведшая ее к гибели, происходила на протяжении ряда десятилетий.

Поэтому и при нынешнем всплеске массовой ностальгии по советскому прошлому его реставрация большинству населения представляется невозможной (табл. 1).

Таблица 1

Возможно ли сейчас вернуться к той экономической и политической системе, которая существовала у нас до 1985 г.?

(в % от числа опрошенных в каждой возрастной группе; март 2001 г., N=1600 человек)

Вариант ответа	Возрастная группа						Всего
	18-29 лет	30-39 лет	40-49 лет	50-59 лет	60-69 лет	70 лет и старше	
Да	1	3	2	6	3	10	4
Скорее да	5	4	11	11	14	21	10
Скорее нет	36	34	33	41	41	26	36
Нет	48	50	49	29	28	26	40
Затрудняюсь ответить	9	8	5	13	14	17	11

Очевидна прямая зависимость между степенью "реставрационных" ожиданий и возрастом опрошиваемых. Но и в самых старших группах абсолютно преобладают мнения о невозможности возврата к советскому прошлому.

Представляет интерес соотнесение таких мнений с суждениями о положении "до 1985 г." (табл. 2).

Таблица 2

Оценки прошлого и надежды на его возвращение

(в % от числа опрошенных, по строке; март 2001 г., N=1600 человек)

Было бы лучше, если бы все оставалось, как до 1985 г.?	Возможно ли повернуть все вспять?			
	да	скорее да	скорее нет	нет
Совершенно согласен	11	21	31	23
Скорее согласен	1	9	49	31
Скорее не согласен	1	2	41	49
Совершенно не согласен	1	2	22	72

Как видим, даже самые недовольные произошедшими переменами в подавляющем большинстве не считают возможным возвращение страны к доперестроечному состоянию.

Подобное распределение мнений нуждается в трезвой оценке и интерпретации. Оно констатирует разрушение институциональных рамок советского общества, не более того. Определенные черты человека советского (например, представление о собственной исключительности, противопоставление остальному миру, преклонение перед силой, неуважение к личности и др.) сохранились после крушения советской общественной и идеологической системы, потому что имеют более старые корни — в российской истории и исторической психологии. Условия, при которых эти черты составили целостную и относи-

тельно устойчивую конструкцию "советского" образца, в конечном счете невоспроизводимы. Но они оказываются востребованными в тех метаниях, которые переживает сейчас общество в России, при попытках утверждения нового авторитаризма и изоляционизма.

Валерия ДЕЛИНСКАЯ

Динамика отношения к В.Путину за последний год

Введение. Наша страна уже около двух лет знакома с Владимиром Путиным как политиком федерального уровня и уже более года — как президентом страны. Ни одному российскому политическому лидеру еще не удалось добиться столь стремительной карьеры. Ранее почти никому не известный за пределами Санкт-Петербурга, уже в октябре 1999 г. он занял первую рейтинговую позицию в списке 100 ведущих политиков России*, к осени 1999 г. стал восприниматься одним из наиболее вероятных кандидатов на пост президента, а менее чем через полгода победил в первом туре президентских выборов. На протяжении последнего года В.Путину также удалось сохранить кредит массового доверия на достаточно высоком уровне. Тем не менее можно предположить, что сегодня электоральная лояльность во многом имеет инертный характер. Управленческие решения, принятые В.Путиным в течение последнего года (налоговая реформа, структуризация вертикали власти, утверждение элементов государственной символики, слияние трех внебюджетных фондов), воспринимались избирателями скорее нейтрально, поэтому на совокупный рейтинг президента серьезно влиять не могли.

В настоящий же момент президент по ряду вопросов вынужден занимать, вероятно, проигрышную для него позицию (предстоящее принятие Закона о труде, молчаливая поддержка смены совета директоров НТВ, неизбежное продолжение жилищно-коммунальной реформы, означающее неуклонный рост цен на жилье и коммунальные услуги). Поскольку затрагиваемые здесь проблемы (жилье и труд) являются фундаментальными для большей части населения, можно утверждать, что рейтинг В.Путина сейчас входит в фазу "проверки на прочность". Насколько устойчивым окажется доверие населения, если президенту придется принимать непопулярные управленческие решения по ключевым вопросам?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, проследим динамику образа В.Путина в течение последнего года. Как мы знаем, восприятие политика многослойно. Во-первых, оно представлено рациональной электоральной оценкой, включающей мнения избирателей о морально-этических качествах политика, его ценностях, политических убеждениях и личностном стиле. Этот слой поддается диагностике с помощью социологических опросов. Кроме того, отношение к политике диктуется более глубоким и зачастую менее осознаваемым слоем электоральных установок и ценностей. Именно этот, более глубокий слой в конечном счете определяет логику электорального поведения и объясняет несовпадение результатов голосования с данными социологических опросов, затрагивающих только "внешний" уровень аргументации избирателей. Этот уровень восприятия диагностируется с помощью проективных методик, в частности, методами свободных ассоциаций, заданных сравнений и психорисунка. Проективные

* Независимая газета. 1999. 10 нояб.